

Леонид Андреев Жизнь Василия Фивейского

I

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался, – и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душой.

И случилась это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадьа, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекачивается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадьа все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

– Вася! А Вася?

– Что, милая? – покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. – Что, милая? Может быть, чайку бы выпила – ты еще не пила?

– Вася, а Вася? – повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей

дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, – и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черная острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же о тихоньком черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася, – говорю я ему, – Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, – он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, – и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза вверх, – они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, – приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их, – и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

– Я – верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

– Я – верю.

А вернувшись домой, снова, хворостинка за хворостинкой, принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

О. Василия не любил никто – ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмеялись. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он пригласил к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласиём, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

– Никто и идти к нам не хочет, – говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника, и после того как стали известны селу страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

– Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

– Нестоящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как Бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал не нравившуюся речь:

– Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

– Ну, погоди: задаст тебе ужо-тка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

– Посмотрим.

– Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в Бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

– Да и та была старая! – самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда

безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги – шаги человека, которому стыдно и страшно, – и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и, если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша Старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, – и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

– Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

– Господи, за что? Господи! – тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприятный, как на дворе.

– Что ж с ними поделаешь, Настенька! – оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. – Терпеть надо.

– Господи! Господи! И защитить некому! – плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его, – воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, стора в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания, – и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

– Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

– Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжело и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

– Не хочешь? Не хочешь? – кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. – Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадья он, целомудренный и стыдливый, отвечал такую же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой неприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень, – и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стога. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой неприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

– Я – верю, – сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

III

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишай и не поддавались лечению, – но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболее Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие

мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожною походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, – и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

IV

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя – над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали, что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадья, или Настя, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались – и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытарашенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити, и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет – и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а

под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полурепбенка, полузверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на подстилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его, – жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полурепбенка, полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, – когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

– Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платя, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

– Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

– Да, видел. Спит.

– А кто же говорит там?

– Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу, – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе, – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

– Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

– Нет.

– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

– Нет.

– А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

– Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

– Ты? Нездоров? Это ты нездоров? – Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. – Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

– У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

– А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

– Что знаешь?

– Знаю, о чем ты думаешь. Ты... – Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. – Ты... в Бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

– Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в Бога.

И опять молчание, опять тишина, – но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода.

И, потупив глаза, она стыдливо просила:

– Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света, и людских громких голосов.

– Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот

славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

– Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

– Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру – в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила.

И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола – два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске – два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

– Кто тут? – вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

– Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

– А он?

– Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

– Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

– Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

– Неправда, – сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

– Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

– Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

V

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинаящейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

– Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, – насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

– Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

– Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерял глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о Старостиних добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал – думал о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду – ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полслове перебивая ее, он спросил:

– А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное – на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о Боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор – серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой – печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди – подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

– А дети у тебя есть? – быстро спросил он, снова перебивая старуху.

– Умерли, батюшка.

– Все умерли? – удивился поп.

– Все умерли, – повторила женщина, и глаза ее покраснели.

– Как же ты живешь? – с недоумением спросил о. Василий.

– Какая же наша жизнь, – заплакала старуха. – Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху

глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

– Ну, ступай, – прозвучал над нею суровый голос.

...Страшные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, – а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, – но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица: и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому Богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом – эту огромную правду о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавилось на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

– Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадьё, и остановился.

– Я уж час жду тебя. Замерзла вся! – Она лякнула зубами от внезапной дрожи.

– Что случилось? Пойдем.

– Нет! нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

– Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивляющуюся попадьё, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению – и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадьё вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности, или ей пригрезилось.

– Позови Настю и приходи сама, – приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

– Настя! Зачем ты делаешь это? – сурово, но спокойно спросил о. Василий.

– Что?

– Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

– Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

– Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

– Не знаю, – ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила: – Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

– А вам не нравится? – полуутвердительно спросила Настя.

– Нет.

– А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

– Ступай! – резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с той же странной откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

– А обо мне вы не думаете, – сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

– Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

– Нет.

– Пойди и поцелуй меня.

– Не хочу.

– Ты меня не любишь?

– Нет. Я никого не люблю.

– Как и я! – И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

– А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

– А меня?

– Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын – дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

– Скучно, Настя! – задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

– Конечно, скучно.

– А Богу ты молишься?

– Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай – сами знаете, сколько дела.

– Как горничная, – неопределенно сказал о. Василий.

– Что вы? – не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

– Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой – раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

– Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

– Что вы! Я ведь большая.

– Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было

нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

– Жалей маму.

Но, уже помолвившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

– А я бы ее все-таки убила.

Позднюю ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмысленные глаза, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, – пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

VI

Пришел великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольной в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли – бесконечно повторяли – глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили – глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду, Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

– А я тебя давно поджидаю, – сказал, усмехаясь, поп. – Зачем пришел, Мосягин?

– Исповедаться, – быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

– Что же, легче станет, когда исповедаешься? – продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

– Известно, легче.

– А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

– Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа – точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству – и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому – он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле – и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел, – и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, – и об этом он говорил долго и мучительно.

– Кончил! – весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

– А кто помогает тебе?

– Кто помогает-то? – повторил Мосягин. – Да никто не помогает. Скучно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог, – мужик осторожно подмигнул попу, – дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

– А Бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

– Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно: он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

– Чего ты ждешь?

– Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

– Так, значит, и будет? – спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

– Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, – повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами – и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознательным движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутина. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

– А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

– Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

– Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? – Он ткнул пальцем себе в грудь. – Что я могу сделать? Что я – Бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

– Становись на колени.

Мосягин стал.

– Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

– Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрерывно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать – ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему – его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

– Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним – и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый – в субботу вечером потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадьа: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадьа успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

– Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

– Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

– Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас, – ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

– Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мостолыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед – и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, – тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и

продолжала:

– Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет он ходить – загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

– А-а-а! – длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натываясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натываясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы – первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

– Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

– Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его иступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

– Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и иступленно:

– И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

– Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, – холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, – но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала с своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-

прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

VII

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи, – ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское – и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

– Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как иступленный, повторял он страшные и беспощадные слова:

– Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полурбенка, полужверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога, – и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и

никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиной. Все дикое и злое родится за спиной человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным Богу человеком и знает, что без него Богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

– Ты думаешь, они это оценят? – говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. – Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготавливался к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалывшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

– Ступай! Бог отпустит твои грехи, – сказал он.

– Погодите. Еще скажу, – прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой, – но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним, – утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и Бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и

поднял руку, как для удара.

– Правда это? – глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

– Ну, ей-Богу, правда. Ну вот провалиться мне...

– Так ведь за это же ад! – крикнул поп. – Ты понимаешь, ад!

– Бог милостив, – угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

– На земле – ад, в небе – ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, – но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори! – кричал поп, и волосы его качались, как от ветра. – Где же твой Бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!» – с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в униженности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

– Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех – это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

– Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо: при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевелиться.

– Молись, Вася! – прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

– Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

– Застегни.

– Куда ты? – удивилась попадья.

– Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметною и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересыхавшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома – там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

– Вася! Неужели это правда? – спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

– Не надо. Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно и стало и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом – огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

– Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает», – подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

– Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение, – что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

– Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

– Вася!

– Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

– Так-то, попадья! – сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко – еще неизвестно куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

VIII

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить, – но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их: верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить», – думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий.

Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это – ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

– Хорошо на земле, – говорил он и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмеялся он над кем-то или над самим собою.

– Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо! – говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело шутила:

– Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь, – говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принеся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запружена народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу, точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха, – веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья – вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живую, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о. Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновенно он стоял молча с опущенными глазами – и, вскинув назад голову,

решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадьа.

– Где она? – спросил он громко у молчавших людей. И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, отдельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость Бога.

– Во имя Божие, – слышишь ли ты меня? – воскликнул он. – Я здесь, Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадьи нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

– Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благослови. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей – на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадьа. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятай страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она – кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было – так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадьа.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно металась налетевшая в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадавая во тьме, то белея, как хлопья кружащегося снега. Умерла попадьа.

– Нет! Нет! – заговорил поп громко и испуганно. – Нет! Нет! Я верю. Ты прав. Я верю.

Он пал на колени, потом припал лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок – точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

– Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость Бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать – как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты.

Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека – все было повергнуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный,

ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и, бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы деревьев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стучая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала насадка с дюжиной пушистых желтых цыплят, – а он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал. И чудны были его мысли – яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни, вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его Бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня – разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?» – но ответом был пламень, озаривший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля и ад взглянет на него своими красными, лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудахтала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

– Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее – и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына – и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом – а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это – мое знание. А она – безмерно несчастная женщина, оскорбленная в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь, – а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: он дал мне видеть жизнь и испытать страдание и острием моего горя проникнуть в страдание людей; он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас господь, настал для нас час милости божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

– Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель – покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить – и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля – мой подвиг, моя

жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул, – и улыбнулся поп.

– Вот – стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я – не в руке его? И смею я не верить в божью милость, когда этот верит в мою человеческую благодать, в мое человеческое сердце.

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый, заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно – чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно склонив голову, о. Василий промолвил:

– Да будет святая воля твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издали увидели попа и, дружелюбно кивая головами, поспешно направлялись к нему, подошли ближе, замедлили шаги – и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

– Что вы так смотрите на меня? – удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбежалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

– Что вы так смотрите на меня? – повторил он, улыбаясь. – Разве я – чудо?

IX

Видимо, для всех о. Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившею в городе, он отослал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка, – она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

– Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

– Прощай, Настенька. Учись, смотри не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уже в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

– А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же, – сказал дьякон, когда уже и пыль

улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

– Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех – со мною ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый, – так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

– А может, и этого брать не стану, – загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфирычу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

– Помни мое слово: наделает делов этот поп.

– Каких делов? – равнодушно спросила жена.

– А таких. Только как по тому случаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы... – Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты, или из другого источника – по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашенные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара, сизым облаком ползавшего по грязному исследованному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито назвал его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

– Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

– Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в

лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственною жизнью духа, отрешившись от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы – и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безглагольным излиянием. Со смерти попадьи он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное: кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклоненной молитве. А когда уставал, – садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам – теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугробы снега, ноги утопали и расплзались в сухой искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как следует не топили и холод стоял лютый – тот особенный, пронизывающий холод, какой свойствен нежилым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, растапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, присев на корточки, о. Василий отогревал руки: иначе крест не держался в негнущихся, залубневших пальцах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянного пьянства и от холода нос у псаломщика был багрово-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом о. Василий облачался в старую ризу, на которой, в местах золотой вышивки, торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в полутьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка – один у псаломщика, другой на амвоне у образа Спасителя – только сгущали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих Богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь, – а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издали приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям.

Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

– Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

– А завтра – будем? А то, может, нельзя?

– Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе – и удивлялся. Думал о попе – и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал – до самой ночи. А наутро ждал – не обманет ли поп, и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых выростала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время – и на возгласы попа стали приходиться из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безликая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась – как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города – словно больно и трудно им было продираться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они – говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома и бесстрастные лица ничего им не сказали, – и они уехали обратно, позвякивая колокольцами.

А слухи, после этого посещения, стали еще упорнее и злее, – и каждое утро совершал служение о. Василий Фивейский.

Х

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету – и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запушённые инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегалась дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла, – а потом, бесноватая, отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле, в поле...

– Метель, – говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне, и заблестело

мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки: мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову – шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

– Бах! – стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запущенные окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение – и снова перед опущенными глазами разворачивался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы.

– Па-па, – бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил – верю тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он – могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

– Па-па! Па-па! – еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их – и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу – для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая; камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевшего сруба, с визгом и свистом. За снежинками гонялась она, – и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

– Па-па! – громко кричал идиот. – Па-па!

Человек слышит и поднимает голову – с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся вьюги – и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается – свершилось!

– Ну, что, Василий? Чего не клеишь – клей!

– Па-па!

– Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу – глаз в глаз с серою ночью – и смотрит. И шепчет с ужасом:

– Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле?

Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

– Погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

– Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей, – но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту – по полу, по потолку, по стенам, – заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

– Бо-о-м! – откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. – Бо-о-м! – падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

– Вот и я! – говорит о. Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные, глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

– Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает – тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес.

– Па-па! – кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

– Ну, что?.. Ну, успокойся.

– Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие, глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

– Па-па!

– Ну хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

– «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

– Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь – и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость – и жалость и жалость!..

– Бо-о-м!

– Ну, слушай же, сын. «Ученики Его спросили у Него: «Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие».

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипение, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

– Па-па! Па-па!

– Слушай, слушай. «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать». – «Доколе Я в мире – Я свет миру». Во веки веков, во веки веков! – посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики. – Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчится, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

– Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

– «Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и

помазал брением глаза слепому – и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам (что значит посланный). Он пошел и умылся и вернулся зрячим».

– Зрячим, Вася, зрячим! – грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

– Верую, господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину попа – и со страхом он обернулся.

– Ты что? – испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хохот: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

XI

Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где Знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубков березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах; ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирыч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого, красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжанья, от запаха и приятной работы; он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

– Эх, брат, Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

– Скажи другой раз, – отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

– Гляди, соску уронишь! – предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен решительно плюнул в нее.

– Ну, тут немного накопашь. Разве там поковырять? – посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится», – но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

– Как думаешь, не завалится? – спросил он, обертываясь.

– А я почему знаю! – ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то

предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямою дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послунявив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею, – что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу – во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый, золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного помертвевшего лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему:

– Его работник – ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпой, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

– Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника – по селу быстро заползали и всюду зашипели взьерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о. Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернея большими расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно

было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, тот снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху – догадался он, что сзади, в нескольких шагах, кто-то следует за ним. Он оглянулся – кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленной поступью попа. Поп остановился – тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

– Кто это? – спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирыч, староста.

– Иван Порфирыч, это вы? – окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно; поп вышел – и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?» – с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого – об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на духов день, и начался он зловецкий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками – такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе.

Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфирыч. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздоровался.

– Что это с вами, Иван Порфирыч? Вы нездоровы? – участливо спросил о. Василий,

выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

– Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами хотел, батюшка.

– Это вы вчера?..

– Я-с. И третьего дня – тоже я. Извините. Я без всякого намерения...

Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

– Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. Боюсь.

– Чего ж боитесь? – удивленно спросил поп.

Иван Порфирыч заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный, и выдохнул:

– Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

– Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу в щи зарезать, тогда и околет. А это что же такое? Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадался. Извините.

– Ты про Семена?

– А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты вот что, – грубо заговорил староста, шалея от страха и злости, – ты эти дела оставь. Тут дураков нету. Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил:

– Живо!

– Да что ты? С ума спятил?

– Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, молюсь», – прогундосил он по-церковному. – Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. ан вот тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу – и услышал короткий и строгий приказ:

– Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирыч сверху взглянул на попа – и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза – огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные – глядели на него, – и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза.

XII

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились, где пришлось – не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходо-в; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее

небо; оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих обликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расплывающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слышали и думали и верили, что хоронят живого – как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали – и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадиллом толстый и благодушный дьякон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные сигарки и ломались в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами, – и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

– Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец – скажите-ка старосте.

– Смердит? – глухо спросил поп, не оборачиваясь.

– А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-Богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

– Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли, и дубовый куст, качнувшийся резными листьями, – и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его великой, мятежной душе.

– «...Воистину суета всяческая, житие же сень и соние: ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищие. Тем же Христе Боже преставльшегося раба твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темнело – буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

– «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть золото и серебро; где есть рабов множество и молва – вся персть, вся пепел, вся сень...» – дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник: так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства, – а оно не приходило.

– «...Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, не имущу вида. О чуде! Что сие, еже о нас бысть таинство; како предахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину Бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи – когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это – раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств: замедлили, остановились, замерли – мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти, – и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно – могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший Бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами – видит внизу испуганное лицо дьякона, предостерегающе приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви, – и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

– Не буду! – шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

– Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий! – растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает: – Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона – дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ощупью найдя дверцу, выходит.

– «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тшится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзи; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкуются люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит, – но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее – три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукою – так весел, так ликующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

– «...Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего вмале с нами, предается бо гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и дру-гов ныне разлучается. Его же...»

– Да остановись же, безумец! – прозвучал с амвона стонущий голос. – Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу:

– Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний минуту смотрел на попа – и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благодной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

– Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками – и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях», – быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

– Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откройтесь же!» – наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни – и смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп.

Он молча отшатывается – и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за

окнами темно, но не догадывается – почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга. Колокол и вьюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменную аркой бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

– Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку:

– Так зачем же я верил? Так зачем же Ты дал мне любовь к людям и жалость – чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою Ты держал меня в плену, в рабстве, в окопах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним Тобою, все для Тебя. Один Ты! Ну, явись же – я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа – один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, вьюга: их двое, их двое... Тишина.

– Не хочешь? – спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

– Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

– Ты! Проси Его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

– Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут звать: отец. И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там – там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:

– Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро – и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами – и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба – несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

– Назад! – кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос. – Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневном хрипе:

– Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол – в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о

стены, об острые каменные углы – и ревет. С внезапно открывшеюся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и – чьи-то дрожащие, цепкие руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные Тучи и всюю гигантскою массою своею падают на потрясенную землю – в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громopodobный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью – ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!» – мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинные отростка, как три хищно загнутые когтя; сзади что-то глухо и грозно рокочет – в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь – и скачут, и скачут.

О. Василий упал в трех верстах от села, посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая, в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо – как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.

Комментарии

Впервые, с посвящением Ф. И. Шаляпину, – в Сборнике товарищества «Знание» за 1903 год, кн. 1. СПб., 1904. В последующих изданиях посвящение снято. Отдельным изданием «Жизнь Василия Фивейского» выпущена в 1904 г. в Мюнхене издательством Ю. Мархлевского («Новости русской литературы») и позже, в 1908 г., в Петербурге издательством «Пробуждение» («Современные русские писатели»).

Толчком к созданию повести «о горделивом попе» стал для Андреева разговор в Нижнем Новгороде с М. Горьким «о различных искателях незыблемой веры». Во время разговора М. Горький познакомил Андреева с содержанием рукописной исповеди священника А. И. Аполлова, который под влиянием учения Л. Н. Толстого отказался от сана (см. Афонин Л. Н. «Исповедь» А. Аполлова как один из источников повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского». – «Андреевский сборник», Курск, 1975, с. 90–101). Новый творческий замысел захватил Андреева. «Он, – вспоминал М. Горький, – наваливаясь на меня плечом, заглядывал в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса: – Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался:

– Завтра еду домой и – начинаю! Даже первая, фраза есть:

«Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне...»

На другой день он уехал в Москву, а через неделю – не более – писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах» (Горький М., Полн. собр. соч., т. 16, с. 320).

В начале апреля 1902 г. Андреев известил Н. К. Михайловского:

«Рассказ, предназначенный для «Русского Богатства» (называется «о. Василий»), написан, остается отделать. Пришлю его к 15–20 апреля, а может быть, и раньше – как позволит газетная канитель» (ЛА, с. 52). Однако в дальнейшем работа замедлилась. Оставив на какое-то время свою повесть, Андреев начинает работать над первой своей пьесой «Закон и люди», и только 9 июня 1903 г. он вновь возвращается к своей повести, которая теперь озаглавлена «Встань и ходи». Андреев тревожится, что новое его произведение может быть запрещено цензурой, но главное, что задерживало его работу, – это временная размолвка с М. Горьким, прервавшая их встречи и переписку. 8 октября 1903 г. по возвращении из Москвы в Нижний Новгород М. Горький написал в Петербург К. П. Пятницкому: «Ура! Был у Леонида. Мирились. Чуть-чуть не заревели, дураки. Его «Отец Василий Фивейский» – огромная вещь будет. Но не скоро! – Лучше этого – глубже, яснее и серьезнее – он еще не писал. Очень, очень крупная вещь! Вы увидите!» (Архив А. М. Горького, т. IV, с. 138). В беседе с литератором П. М. Пильским Андреев сказал о М. Горьком: «Все время он умел меня только окрылять и бодрить. «Василия Фивейского» я писал долго; много работал над ним; наконец, он мне надоел и стал казаться просто скучным. Как раз приехал Горький, и я ему прочитал «Фивейского». Читаю, устал, не хочется языком ворочать, все знакомо. Наконец кое-как дошел до конца. Думаю: никуда не годится. Поднимаю голову – смотрю, у Горького на глазах слезы, – вдруг он встает, обнимает меня и начинает хвалить моего «Фивейского» – и так хвалит, что у меня снова – и вера в себя и любовь к этому надоевшему мне «Фивейскому»...» (Пильский Петр. Критические статьи, т. I. СПб., 1910, с. 22).

Конец ноября 1903 г. Андреев пишет М. Горькому в Петербург:

«...посылаю рассказ – но дело вот в чем: последние четыре страницы набирать и посылать не нужно, так как хочу я их сильно переделать. Именно: меньше слез и больше бунта. Под самый конец Василий Фивейский распускает у меня нюни, а это не годится, и даже по отношению к этому человеку мерзко. Он должен быть сломан, но не побежден» (ЛН, с. 184–185). М. Горький передал рукопись К. П. Пятницкому, и тот немедленно выслал экземпляр ее издателю Юлиану Мархлевскому в Мюнхен для закрепления авторских прав Андреева за границей. К. П. Пятницкому удалось успешно провести «Жизнь Василия Фивейского» через цензуру, и уже 30 января 1904 г. обрадованный автор получил из «Знания» корректуру, а 16 марта того же года сборник «Знание» с включенной в него повестью Андреева поступил в продажу. Впечатление от произведения было столь велико, что некоторые рецензенты сборника «Знание» посвящали «Жизни Василия Фивейского» особые статьи. Внимание критиков было сконцентрировано на образе поднимающего бунт против бога сельского священника. Церковная печать, нападая на Андреева, принялась доказывать нетипичность образа Василия Фивейского. Так, Ф. Белявский в статье «Вера или неверие?» осуждал героя рассказа за «гордое настроение ума», несовместимое с христианским смирением верою», причину его несчастья Ф. Белявский усматривал не в социальной и общественной одинокости Василия Фивейского, а в «отсутствии духовной жизнеспособности» («Церковный вестник», 1904, №36, 2 сентября, с. 1137). Православный миссионер Л. Боголюбов критиковал Андреева за «декадентство», а Василия Фивейского объявлял душевнобольным («Миссионерское обозрение», 1904, №13, сентябрь, кн. 1, с. 420–434). Священник Н. Колосов 15 декабря 1904 г. в Московском епархиальном доме выступил с лекцией «Мнимое крушение веры в рассказе Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского». По словам Н. Колосова, «тип о. Василия Фивейского есть тип уродливый и до крайности неправдоподобный. Такие типы среди духовенства, и в особенности сельского, могут встретиться разве только лишь как редкое исключение, как бывают люди с двумя сердцами или двумя желудками...» («Душеполезное чтение», 1905, январь, с. 593). С церковными публицистами солидаризировался Н. Я. Стародум, добавив от себя, что «Жизнь Василия Фивейского» это «надругательство над священником, над его саном, над его семейной жизнью, над его горем, над его сомнениями, над его горячею верою и над Верою вообще» («Русский вестник», 1904, кн. 1, с. 790). Иным было восприятие «Жизни Василия Фивейского» либеральной и демократической критикой. Н. Геккер отмечал, например,

«несравненные» художественные достоинства произведения («Одесские новости», 1904, №6291, 26 апреля), И. Н. Игнатов писал, что в «Жизни Василия Фивейского» Андреев изображает «общечеловеческие страдания», и хвалил превосходный язык произведения («Русские ведомости», 1904, №124, 5 мая), С. Миргородский сравнивал Андреева с Эдгаром По и Шарлем Бодлэром, находил, что «Жизнь Василия Фивейского» написана с «излишней жестокостью», но добавлял, что в произведении много «психологических тонкостей» и «художественных перлов» («Северо-западное слово», 1904, №1957, 22 мая). О глубине содержания «Жизни Василия Фивейского» рассуждал Л. Н. Войтоловский («Киевские отклики», 1904, №158, 9 июня). Это только некоторые и самые первые газетные отклики на повесть Андреева.

За подписью «Журналист» в «Русском богатстве», в августе 1904 г., была напечатана статья В. Г. Короленко, посвященная сборникам «Знания». «В этом произведении, – писал он о «Жизни Василия Фивейского», – обычная, уже обозначившаяся (например, в «Мысли») манера этого писателя достигает наибольшего напряжения и силы, быть может, потому, что и мотив, взятый темой для данного рассказа, значительно обще и глубже предыдущих. Это вечный вопрос человеческого духа в его искании своей связи с бесконечностью вообще и с бесконечной справедливостью в частности. Свою задачу автор ставит в подходящие условия, при которых душевный процесс должен развернуться в наиболее чистом и ничем не усложненном виде <...> ...Тема – одна из важнейших, к каким обращается человеческая мысль в поисках за общим смыслом существования». Указав далее на мистический тон повествования Андреева, В. Г. Короленко не согласился с субъективной концепцией Андреева относительно преднамеренности страданий Василия Фивейского и его упований на чудо. «...Я не признаю с Василием Фивейским преднамеренности страдания и не стану вымогать благого чуда, но я не вижу также оснований на место доброй преднамеренности ставить преднамеренность злую. Я просто буду жить и бороться за то, что уже теперь сознаю своим умом и ощущаю чувством как несомненные элементы предчувствуемого мною великого, живого, бесконечного блага» (Короленко В. Г. О литературе. М., Гослитиздат, 1957, с. 360–361, с. 369).

«Жизнь Василия Фивейского» заинтересовала символистов. В рецензиях на первый сборник «Знания» в журнале «Весы» утверждалось, что, кроме этого рассказа, в сборнике «нет больше ничего интересного» и что «рассказ этот кое-где возвышается до символа» (М. Пант-ов; 1904, №5, с. 52). Сопоставляя Андреева с А. П. Чеховым, другой рецензент отмечал: «Оба они тяготеют к символизму, за грани эмпирического, по ту сторону земной жизни, иногда, быть может, вполне бессознательно» (Ник. Ярков; 1904, №6, с. 57). Специальную статью «Жизни Василия Фивейского» посвятил Вяч. Иванов. «Талант Л. Андреева, – писал он, – влечет его к раскрытию в людях их характера умопостигаемого, – не эмпирического. В нашей литературе полюс проникновения в характеры умопостигаемые представлен Достоевским, в эмпирические – Толстым. Л. Андреев тяготеет этой существенною своею стороною к полюсу Достоевского» («Весы», 1904, №5, с. 47). На Валерия Брюсова «Жизнь Василия Фивейского» произвела впечатление «тяжелого кошмара». В. Брюсов тоже согласен, что это произведение – наиболее значительное в сборнике «Знания», но предьявляет автору серьезный, с его точки зрения, упрек. В обзоре русской литературы за 1904 г. для английского журнала «Атенеум» В. Я. Брюсов утверждал: «При внешнем таланте изображать события и душевные состояния, Л. Андреев лишен мистического чувства, лишен прозрения за кору вещества. Грубо-материалистическое мировоззрение давит дарование Л. Андреева, лишает его творчество истинного полета» (цит. по статье Б. М. Сиволова «В. Брюсов и Л. Андреев» в кн.: «Брюсовские чтения 1971 года», Ереван, 1973, с. 384). В очерке «Памяти Леонида Андреева» (впервые – «Записки мечтателей», 1922, №5) Александр Блок начал своей связи с Андреевым, задолго до их личного знакомства, называет «Жизнь Василия Фивейского»: «...я помню потрясение, которое я испытал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью (...) ...Что катастрофа близка, что ужас при дверях, – это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на

это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского»...» (Блок, с. 130–131).

В феврале 1904 г., воспользовавшись приездом в Москву А. П. Чехова, Андреев дал ему для прочтения еще не вышедший в свет рассказ «Жизнь Василия Фивейского» (см. письмо его А. П. Чехову на визитной карточке, не позднее 15 февраля 1904 г. – ОРБЛ, ф. 331. А. П. Чехов. Карт. №35, ед. хр. 32). Состоялся ли у А. П. Чехова разговор с Андреевым по поводу рассказа – неизвестно. Но позже О. Л. Книппер вспоминала, что после чтения «Жизни Василия Фивейского» в сборнике «Знание» в Ялте А. П. Чехов сказал ей: «Знаешь, дуся, как я сейчас напугался, ужас как страшно стало», – а у самого выражение лица хитрое такое, веселое, и глаз один прищурился» (Запись в дневнике Б. А. Лазаревского. См.: ЛН, т. 87. М., Наука, 1977, с. 347). Повышенная экспрессия рассказа скоро стала восприниматься и Андреевым как его недостаток. 1...10 мая 1904 г. он писал М. Горькому: «Огромный недостаток рассказа – в его тоне. Не знаю, откуда это у меня явилось – но в последнее время сильно тянет меня к лирике и некоторому весьма приподнятому пафосу. Приподнятость тона сильно вредит «Василию Фивейскому», так как, по существу, ни к громогласной лирике, ни к пафосу я не способен. Хорошо я пишу лишь тогда, когда совершенно спокойно рассказываю о беспокойных вещах и не лезу сам на стену, а заставляю стену лезть на читателя» (ЛН, т. 72, с. 212).

В 1909 г. в издательстве «Шиповник» (СПб.) вышел литературный сборник «Италии» (в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине). В сборнике помещен отрывок «Сон о Василия», никогда не включавшийся автором в публикуемый текст «Жизни Василия Фивейского» и никогда впоследствии не переиздававшийся. В Архиве Гуверовского института (Станфорд, США) хранится рукопись ранней редакции «Жизни Василия Фивейского», датированная 11 ноября 1903 г. «Сон о Василия» занимает место в шестой главе после слов: «И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом».

«СОН о. ВАСИЛИЯ»

(Неизданный отрывок из «Жизни Василия Фивейского»)

Как будто очень долго, с определенной и важною целью, от которой зависела жизнь, он шел, ехал по железной дороге и на огромных пароходах, снова шел по торным и широким дорогам, снова ехал – и, наконец, явился куда-то, где все было незнакомо, очень странно и чуждо, и вместе с тем уже видно раньше. Тут однажды уже произошло что-то очень важное, и должно было произойти опять, и все ждали. Было полутемно и совершенно тихо, как в сумерки; он стоял на горе среди редких черных деревьев, а напротив была другая гора с такими же редкими черными деревьями, и за нею весь горизонт до половины неба был охвачен холодным и красным огнем. В нем неподвижно стояли огромные, немые, бесформенные тени с круглыми головами; и оттуда, от этого холодного огня, от этих заснувших теней должно было прийти то, чего все ждали.

И ждало все.

Высокие черные деревья, похожие на тополи, склонились, не сгибаясь, все в одну сторону к горизонту, и тихо прислушивались и ждали. Туда же, к холодному и мрачному огню, тянулась длинная, похожая на проволоку, трава и бесцветные, словно металлические, листья остриями своими неподвижно смотрели и ждали. На черном густом озере между горами застыли поднявшиеся волны; бока их были блестящи и красны, как кровь, и, склонив хребты, острыми верхушками своими они зорко присматривались и тяжело, упорно ждали. Людей не было видно, но они были где-то, между деревьями, и их было много, и все они боязливо и трепетно ждали. Возле о. Василия, плечом к плечу стоял кто-то невидимый, но давно известный; он шел с ним и ехал, и теперь стоял рядом – и тоже ждал. И тихо было, и сам неподвижный воздух прислушивался в немом и жадном ожидании.

И все страшнее становилось и хотелось бежать, когда Иван Порфирыч вынул из

жилетного кармана толстые серебряные часы, посмотрел и сказал:

– Пора начинать.

И тогда зазвонил колокол тяжелыми отдельными ударами, как на похоронах. Звуков не было слышно, но они пронеслись в воздухе, как железные огромные листы, и проходили сквозь все тело, от пят до головы, и тело дрожало мелкою и страшною дрожью. И все всколыхнулось. Земля опускалась и поднималась, и деревья вышли из неподвижности. Не шевеля ни одним листом, прямые и черные, они склонялись направо и налево, и сходились вершинами и расходились; колыхалась трава, и волны печально и со страхом ложились гребнями, а колокол звонил раздельно и страшно. И зашевелились в холодном огне проснувшиеся чудовищные тени и всю свою клубящуюся массою устремились на ожидавших. [И головы у них были круглые.]

– Смотрите, что вы наделали, – сказал Иван Порфирыч и побежал сказать сторожу, чтобы он перестал звонить. Побежал и о. Василий, и рядом с ним бежал кто-то, и это был идиот; и о. Василий удивился, как может он бегать, когда от рождения не владеет ногами.

И спросил его об этом, и идиот захохотал, и лицо его становилось все больше, все шире, и скоро закрыло небо и землю. И сердце о. Василия остановилось.

<1903>

Рассказ «Жизнь Василия Фивейского» переведен на немецкий (Берлин, 1906), польский (Варшава, Львов, 1903), эстонский (Ревель, 1908) и другие языки.